

ГРИГОРИЙ
ВАХЛИС

Григорий ВАХЛИС ТАКАЯ ДОЛГАЯ ЗИМА

ТАКАЯ ДОЛГАЯ
ЗИМА



СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА

**EDITA
GELSEN**

Григорий
ВАХЛИС

ТАКАЯ
ДОЛГАЯ
ЗИМА

избранное

Edita Gelsen
Гельзенкирхен
2022

Григорий ВАХЛИС

ТАКАЯ ДОЛГАЯ ЗИМА

Гельзенкирхен: Edita Gelsen, 2022 144 с.

ISBN 978-3-949501-45-6

В новую книгу Григория Вахлиса вошли стихи, написанные в последние годы, а также стихи из предыдущих книг.



Copyright © 2022 bei Grigory Vachlis
Alle Rechte in dieser Ausgabe vorbehalten
Публикуется в авторской редакции

ISBN 978-3-949501-45-6

Gesamtherstellung Edita Gelsen e.V.
logobo@gmx.de

Printed in Germany

* * *

По проспекту безликому имени временщика,
мимо псевдокоринфских колонн и бетонных шахтеров,
по гудящим мостам, где на холоде ноет щека,
вдоль трамвайных путей, автострад и фабричных заборов,

в городских сквозняках — телогрейки, плащи и пальто.
Пробираясь бочком, будто в чем виноваты, —
то ли кто с постамента путь им кажет промерзшим перстом,
то ли это декабрь крупу рассыпает грабаркой-лопатой...

Не по ним ли грустишь, созерцатель кирпичной стены?
По тебе ли грустит воронье среди мусорных баков?
И грохочет молчанье, за собою не чуя вины,
отчего же в молчании этом так хочется плакать?

Ты стоишь, дожидаясь весны или лета — чего там еще?
Ты едва ли трамвайного звона сумел бы дожждаться.
Ты и сам прозябаешь давно под истертым плащом,
позабыв день рожденья, развода и прочие даты...

Но в трамвае пустом, где смиренный кондукторский взгляд,
где небритой скулою брезгует худая ушанка,
ты бы душу им отдал, да только на кой она ляд,
старик со старухой, что пахнут трухой и мышами.

Ты молился бы отчиму в робкой надежде любви,
и в окошко вагонное, так на него не похожий,
разглядеть бы пытался все то, что не в силах забыть —
а в захватанных стеклах качался бы пасынок божий.

1990, 2019

* * *

Никого.
Холодеет река.
Синева.
Облака.
Оловянная рябь
Да полоска песка.
Ветер, шорох шагов.
Оглянулся, и вот —
Никого.

1990

Марине

Отмечена, обречена
врожденным гибельным изъяном,
играла в куклы дотемна
под черной башней фортепьяно.
Таилось детство — стыдный ком,
горячий всплеск, тревожный запах,
всё нарождалось так легко
и умирало так внезапно.
Но проходил за годом год
и звоном полнился и гулом,
ты всё вращалась в гущу вод,
в гремющий черно-белый улей
И жизнь ушла в биенье рук,
и гаммы складывались в суммы,
судьбы распахивался круг
клавиатурой безумья.

Молчать, и сжаться, и не сметь —
шаги и пагубные стуки,
но пальцев сумрачная медь
в глухие меркнувшие звуки
ронялась, будто палачи,
безделья полные истомой
роняли медные ключи
в беззвучный ропот водоема.
Не будь помилован, Шопен, —
преступен будь и безнаказан,
вливай в сретенье детских вен
свою бессмертную проказу.

1990, 2021

* * *

Пятно на серой простыне,
на серой
стене окно.
И небо серо,
и облако пятно.
Вчера шел снег
во здравие,
а ныне — за упокой,
под хлюпанье ботинок.
И мокрый памятник протянутой рукой
указывает путь на Крытый рынок.
На памятнике голуби.
Помет их голубиный
голубоват.
Среди прилавков бабий смех да мат,
согреешься — и говорок весенний...
Густой толпой блюет метро.
Февраль.
Восьмое.
Воскресенье.

1990

* * *

— Ну что там?

— Ничего.

Холмы.

Холмы и тот же дождь секущий.

— Не может быть!

— Поверь, что так.

Дерьмо,

точнохонько как здесь,

ложится в кучу. Там...

— Будь ты проклят!

— Все же ничего.

Два дерева и камни.

Просто берег

неотличим от прочих берегов,

да камыши — но кто тебе поверит!

— Ты слеп!

— К слепым мечтаньям глух!

Прошу тебя — оставь пустые речи...

Там утром, только пропоет петух,

соломою растапливают печи...

Там ничего — лишь мокрая земля,

святая или нет — того не знаю,

я вижу лишь вечерний бледный свет

над Богом позабытым сырým краем.

Там — ничего.

Овраги и мосты,

на окнах пыль, а в окнах — абажуры.

Из всех дверей выглядываешь ты,

у всех твое лицо, твоя фигура.

Да только ты уже совсем не тот,

глядишь в стекло, себя не узнавая,

навстречу улыбаясь, скалишь рот,
улыбка на лице твоём — чужая.
Бездомие, завещанное нам,
недобрый взгляд и вечное движенье.
Немые песни, чтение по слогам,
и вычитанье грёз, и умноженье...
В костре едва дымил сухой кизяк.
Дым полз в траве, смердел на всю округу,
Там ночь была — сиял незримый Рак
за тучами, что уплывали к югу.
Там падал дождь, сухой травой шурша,
накрыл уже ослепшую долину,
объемля всё, все звуки заглуша,
пространство утопил в размытой глине.
Там всем осталось только:
«дождь идет».
Ни спора, ни предательства, ни крика.
Летели капли
или били влёт
их серые щетинистые лики,
похожие на кучи бурьяна,
на бурых птиц, застывших в бурых гнездах,
и блеск огня дрожал,
всползая на
крыла и клювы,
застывая слёзно.
— Ну что там?
— Дождь!
— Что?
— Дождь!
— Не слышу!
— Дождь!
Там дождь идет!

— А?
— Дождь идет!
— Не слышу!
Я слышу — сердце сотрясает дрожь,
как прежний дождь колотит в нашу крышу...
— Да, дождь идет... не слышно на дожде!
— Ты кто?
— Я? — капли бьют по капюшону.
— А я? Кто я? Я где?
— Не знаю!
— Где?
— Я в этом смысле стал умалишенным!
Наутро встанем,
Богу помолясь,
свернем шатры
и двинемся ко броду.
И реку перейдем —
в который раз!
Войдем опять —
в одну и ту же воду.

1990, 2021

* * *

Ущелье,
крик орла.
Была,
была-а!
Поверь,
что жизнь была.
Молчанье,
камни, облака,
трава,
спаленная дотла.
Иссохший ствол,
расселина,
в ней камень.
И скорпион,
едомый муравьями.

1990

* * *

Некто,
Никто.
Давным-давно позабыл.
Кажется, на лестнице,
и она была без пальто.
Но ни за что не вспомнить перил.

Только ступени,
фонарь без лампы,
без колпака.
И белело лицо,
а может, рука.

Некто,
Никто.
Дыханье, убиваемое тишиной,
голос, что пересох.
Дверь скрипит.
Но это ветер,
сквозняк.

Вдох.

1990

* * *

Шебуршит муравьиною
едкою мелочью,
суетливой бессмыслицей
ветошных дней —
лишь ее не продай
за великое дело,
лишь невнятного шепота
позабить не сумей.
Так избыточна нежность
в ее беззаконии,
внеположная злу
травяная ее простота.
Мы малюем всегда
на высоких иконах,
что распять не сумели
на еловых крестах.
Позолотой повытертой
правда и вера.
Но, невидимая,
проступая, дрожит
только смертная щелочь
единою мерой,
и со смертью никак
не расстанется жизнь.

1990

* * *

Камни
божьим дыханьем
поют осанну...
Камни,
над ними звездное млеко,
были до
и после пребудут
нас, человек.
Камни Адамы
и Евы.

Камни дети.
Камни отчаянные,
неприкаянные.
Камни грешники нераскаянные,
раскалённые и оскаленные
камни Каины.

Камни убийцы
и убиенные,
камни жены неверные.
Камни, камнями побитые
и побиваемые,
оглашенные.

Камни Ироды,
камни младенцы,
камни выродки...
Камни — камни,

сверкают под ливнями
ни Самсону, ни филистимлянам.
Исааки,
Исавы,
Иаковы...
Одинаковы,
одинаковы.

1991

* * *

Что, вертится, мой Галилей?
И верится? Какою мерой
отмеривать, взыскав веры?
Смиренней быть или смелей?
Каких же благ пытался ради
изобразить в своей тетради
Господень замысел, скажи?
Взгляни же, ты себя калеча
лишь скудный разум человеческий
в измятые листы вложил,
и пальцем тыча в бытие
вдруг обретаешь... не себя ли?
Чертеж твоим грехам зеркален,
сие — отчаянье твоё!
Объята разумом душа
суха, бесплодна и уныла,
и плоть, разрытая могила,
чернеет, тлением дыша...
Увы, стараньем расчертив
непостижимость вышней тверди,
соорудил темницу сердцу,
природе нашей супротив.
И поведут не мудрецы —
лжецы, невежды и убийцы.
Сие без счета повторится,
и славу вознесут певцы.

Когда измучишься кричать,
ответь себе, молчанью вторя:
на круглой меньше ль будет горя,
на плоской — горше ли печаль?

1992, 2022

* * *

Как время отыскать в пустом дому?
Проснуться и услышать плач ребенка.
Стена, покачиваясь, трогает стену,
луч фонаря — невыносимо тонкий.

Где солнце встанет (или не взойдет)?
Кто спит на берегу в саманном доме?
Очаг чадит, и голова в соломе,
да тень моя глухой стерней бредет...

В щелях ограды огненная тьма,
на холоде дыхание овец.
Чужое поле из конца в конец,
а белый снег все тянется к губам...

Январь 1993

* * *

Птица в небе — малая соринка —
затерялась в склере голубой,
голубиная дрожит слезинка,
лёгонького счастья полуболь.

Птица, ты попала в клетку!
Нежность абсолютной круглоты
хищно схватывает хрупкий слепок —
небо пьёт, и в этом небе — ты.

Время — неумелая затея,
но в синематографе слепцов
я слежу за птицей — леденя,
в небо погружается лицо.

И мелькает — каждый миг — по птице!
Каплет птица в милую лазурь,
Рвется, тает, зыбится, слойтся —
упокрой, прости и образумь...

1995

* * *

Живу читателем своих стихов.
Я рад, что есть у них читатель!
Считатель кашлей и чихов,
свидетель корчей, спазмосозерцатель.
Они в наличии. Их факт упрям.
Я не смолчал в ответ на факт рожденья.
Сверкнет надсадный крик нетопыря —
то твой глагол неслышимый радеет!
Другого зренья, впрочем, не дано.
Да я не внял бы ничему иному...
Что есть, по сути, заблужденье, но
я буду с этим жить, пока не помер.
Не глаз, скорее — трогает язык:
подробности шершавой амальгамы
и близнеца, который вдруг возник,
ослабился в позолочённой раме.
В тоске заочной глухонемоты —
наличие двоичности наочной,
мы замолчим с тобой — и я, и ты,
заговорит ни я, ни ты, короче...

1996

* * *

Окаменелые гроба
пусты, как брошенные соты.
В крапиве, в зарослях осота
лежит архангела труба.

1996

Европа

Роман бессрочный — жертвы с палачом.
И тихо едут на велосипедах..
Лихую песню распевали деды,
а внукам предстоит понять — о чем.

Не снится синий номер у плеча,
и боль былая незнакома боли.
Еще не раз им переменит роли
роман бессрочный жертвы-палача!

10 марта 1997

Россия

Оторван ставень, на ветру стучит...
Незаперто — потеряны ключи.
Мертвец лежит, забытый на печи.
Хоть подожги — никто не закричит.

Дождь все идет, невнятен и студён.
Никто не различит ночей и дён.
Рупь на столе лежит неукрадён.
Насущный черств, неверен и скудён.

Куда бегут, окражены — бегут!
Им прокричал зарезанный кугут!
Царь-батюшка Европе скажет: «Гут!»
По локоть ногти — скажут — остригут!

10 марта 1997

* * *

Желтым до зелени
светила тусклая лампочка,
ввинченная в патрон на витом шнуре.
Было, должно быть,
Далёко за полночь,
И мышь шуровала в картофельной кожуре.
Но скосил глаза — и в виске заныло!
Сходством недопустимым казня,
странное насекомое, злобное и унылое,
до боли знакомое, уставилось на меня.
Лапы — волосяная проволока,
меж ними свисает, мелко дрожа, брюшко...
А главное — эти глаза без проблеска,
И голова — закинута гордо и высоко.
Я сразу долил себе пальца нá два,
сознанию перепуганному назло.
Правда — та же галлюцинация,
только вывернута другим углом...
Кто ты? Да какое мне дело!
Чего мы не поделили с тобой?
А оно взлетело —
и в лампочку головой!
Взвыло крыльями до тошноты и на скатерть
рухнуло, обгорелое, но, вижу опять,
нацеливается в огненный кратер...
Что же ты делаешь, твою мать!
Оно не пробьет мне голову,
оно меня не загонит!
А оно — бросается голое
прямо в огонь!

Еще и еще — не меняя позы,
я сидел не в силах дышать —
не то на лице шевелились слезы —
не то подергивался,
пытаясь встать.
В лампу бутылкой —
тень набежала,
тихий сумрак надо мною повис...
Но кто-то, казалось, внимательно и безжалостно
мутными бельмами смотрит вниз.

1997

* * *

Мне худые стихи-журавли
на еловых ходулях
расклевали макушку —
и небо сквозит из дыры.
Мне в награду еще поднесут
безнадежную дулю
золотые денечки
последней холодной поры!
Не просить бы дождя
у облупленного небосвода,
не принять бы награды
от щедрот этих сытых времен...
Мне в стекляшки очков
нелюдима лезет природа,
человеческой жадной печалью
зрачок зачернен.

1997

* * *

Слова? Молчание и стыд?
Фигура языка? А может — уха?
Над полом воздух, потолком накрыт,
и этот космос будоражит муха.
Тем паче — мысль. В черноте гардин
молчанье пиджака висит сутуло.
Дереვენя, прячется под ним
молчание иное, в форме стула.
Игра в молчанку, где никто не люб.
Молчат углы, стакан и подстаканник.
Буфет и стулья, стол, шершав и груб,
беззвучный чай застыл в своем стакане.
Крюк в потолке и горло-абажур.
Еще неясен, схож еще с медузой...
Но к лампочке витой протянут шнур,
невысоко над ней затянут в узел!
Такая тишина, что в сыром пол,
глухого потолка не замечая,
луч фонаря, похожий на укол,
втыкается, но пылью поглощаем.
Сцепились пальцы, въелись до кости,
но плотью плоти удержать не могут.
Всей пустоты уже не возместить,
но глаз косит над пропастью убогой,
и видит сам себя и прочий сор,
не более — а это форма крика,
который навсегда ушел из форм, —
доски, оклада, собственно — и лика.
Меж четырех углов немой вопрос,
пока еще не названный ответом,

не в табурет — в шершавый сумрак врос
и видит сны, пока не канул в лету.
Кабы вздохнуть — но воздух позабыт!
Кабы забыть — но помнится так ясно,
как будто кол осиновый забит,
а вся земля вокруг сочится красным.
Там, за окном, давно все спит. Звезда,
мосты, фасады, окна, человеки...
Как ночь длинна... И как бы не предать,
пока еще петух не кукарекал.
Крик петуха — ты слышишь? Рассвело!
Что так темно? А главное — так тихо...
И бьется что-то... Муха о стекло?
Или будильник продолжает тикать...

1998

* * *

Тучка, белая сучка,
любишь еще? Скажи!
Невидимого конвоира
невидимы виражи...

Покамест еще прощает,
видимо, сам не свят,
нечесаный и прыщавый
заоблачный лейтенант.

А случаем утопит —
ноготь грызет не вдруг,
образом и подобием
молоденький демиург.

Прикуривает невесело...
Эй! Погоди, стой!
...Оскалился новый месяц
фиксою золотой.

1998

* * *

Пролетая над лесом, над нембтою тихих деревьев,
вдоль шоссе, над сутулой сосной, над беспомощной хвоей.
Так внезапно светло, так нелепо легко и безвременно
над унылою просекой, над беспечальной травой.

Над сизой опушкой, над бледной рекою, над лугом,
над упавшею косо, знакомою смутно фигурой,
над бездонной дырою, проделанной вечным испугом,
или, может быть, просто над лужей, над плешиной бурой.

Над оврагом, над мусорной кучей, над будкой отхожей,
над пустым огородом, над пепельно-серым бурьяном...
Улетает-летит, на любовь бесконечно похожее
и на фотопортрет в металлической погнутой раме.

Не надсаду, не боль оставляя, не крик задыхающийся,
обернулся — и вот, пролетаешь над лесом.
Будто издали слышишь, но звук постепенно стихающий
или шепот невнятный, а после — уже бессловесное.

В безвоздушном пространстве в неприбранной комнате,
над флаконом духов, над забытою детской рубашкой,
все еще узнавая отныне уже незнакомое,
полудетская память смущенно парит, улыбаясь...

1998

* * *

Глуп народ. А безумен — пророк.
То ли пляшет халда*, то ли мудрость халдеев.
И глаголет толпа, и кружит воронье,
онемели холмы и долины скупой Иудеи.
Ибо мудрость нема. Чем древнее, тем глуше вражда.
Тем жирнее вожди да паршивей собаки.
Зачерствела лиловая кровь в ожиданье суда,
и невнятней становятся тысячелетние знаки.
А Давиду почудилось, будто смиренно трава
тянет пальцы свои к порыжелой лазури,
будто плачет Саул, и клонится его голова.
И Давид всё играл над травой обгорелой и бурой.

1998

* Бесстыжая, распущенная женщина.

* * *

Прощай, язык!
Ты требуешь ушей.
Хоть откуси тебя,
хоть рот зашей..
Лепи свою неправду кое-как,
лоскут рябой прикидывай на прорву.
Пусть будут слово, буква или знак —
не в глухоте надорванное горло.
И пальцем тыча, кто-нибудь прочтет
с тобой, по счастью, понимая розно..
А дней-то, дней, уже наперечет!
Так выучись молчать, пока не поздно.

1999

* * *

Горчичник уличного фонаря
все слабее, но каждый раз
тридцать первого декабря
ровно на́ год тускнеет глаз.
Уходят шорох, касанье, свет,
голос в прозрачном лесу.
Ты думаешь — этого нет,
а это значит — тебя несут.
Боль уходит, покидая тебя,
забывая обжитый дом...
Кто-то, волосы теребя,
оправляет твое пальто.
Он еще ненавидит слово «успех»,
торопливую кровь в сплетении жил
за суету — но быстрее всех,
всего быстрее проходит жизнь.

1999

Детство, отрочество, юность

Поезд, всегда опаздывая, подтягивался к платформе.
И, разом вываливая из всех дверей,
пёрла толпа — милиционер в темно-синей форме
и остальные, один другого серей.
Сам не знаю когда — я научился дышать,
конечно, позже, чем меня научили думать...
Сколько себя помню, разные кореша
вместе со мной составляли сумму
мозга, кратного двум-трем, одному — любому,
кто мог высказать нечто,
и оно падало в голову, как в тюрьму,
где и оставалось пожизненно. Нет — навечно!
Уже тогда я заметил: серое — суть
остальных цветов, и, крутя педаль,
видел — белую тянут вдоль шоссе полосу,
а дорога уходит в серую даль.
Ритма бесконечного «репетэ»
альтернатива — предсмертный хрип.
Глаза закроешь — бухает в темноте,
это у сердца такой же ритм...
Марш, сюита, балалаечный перебор,
хриплая ругань, плач или лай,
без конца и начала непрерываемый разговор
в радиоточке — из края в край!
Я кричу и буду кричать!
До окончательной немоты хочу докричаться:
— Нет! — кричу. — Не печать,
а клякса нечаянная!

В апельсиновой комнате, где абажур
золотой бахромой шевелил до кровавого зуда,
за шею душил электрический шнур,
до глубокого обморока звенела посуда.
Из репродуктора лилась немота,
наполняла комнату ядовитым газом,
в котором ненавидели мучившиеся там,
и, умирая, в железную дырку глядели глазом.
Они задыхались, хрипели в дыму,
друг друга высверливая металлическими голосами
так безнадежно, будто молились тому,
в чью пощаду не верили сами.
Немота сочится из кирпичей
и, подступая к горлу, выдавливает слова.
Немота есть содержанье речей,
когда глаголет отсеченная голова!
Голоса грядущих и засыпанных мертвецов
неотличимы на звук.
Только в такт подергивается лицо,
только пляшут суставы рук.
Я не слушал, но смерть полюбил:
упасть на мятую простыню навзничь
и думать: «Меня кто-то убил».
И кровью набухла наволочка.
И — вот сейчас войдут!
Я — а вокруг они...
Понимаешь, мы жили тут,
беззащитные, как колония гнид.
Во тьме коридоров хищное шарканье суеты,
желтой лампочки лживый свет,
и бегут, ломая невидимые кусты,
никого не щадя, — а погони за ними нет.

Хватая руками снова и снова,
вот она — жизнь! — повторяешь до обморока,
а она становится словом
и уходит плоской походкой оборотня.
Это слово — всё, чем ты хотел бы быть,
но не сумел... Судьбе в глаза:
счастлив, кто морду подняв, умеет завывать,
наперед не загадывая, не оглядываясь назад.
В ядовитой линзе слезы
мир превращался в невыносимый свет,
каким без сомненья всегда и был,
но обратился в память, которой сегодня нет.
Всё сузилось до размеров сухих морщин
над желтым глазом, за проволокой очков.
Слышишь, как половица трещит,
а кажется — двигаешься легко...
И, выходя на свет и простор,
привычной рукою всё ищешь стену,
забор, решетку, дверной запор,
дрожа, шарахаясь собственной тени...
Зияет небо — невыносимый страх
открытых пространств. Все миры другие
отдам за духоту в четырех углах,
за милую сердцу клаустрофобию!

1999

* * *

Царь щурит веки красные на свет,
на убиенных благодать господня.
И тянет, как тому две тыщи лет,
в Египет убежать в одном исподнем...
В ночи, Марию за руку схватив, —
младенцев режут, нынче ходят слухи...
И в полдень отдыхать в тени олив,
и слушать, как пчела звенит над ухом.

1999

* * *

Был бит... И сам бивал.
В разборке был проштырхнут электродом.
Старался в голову — чтоб, значит, наповал —
как сын татарского и русского народов.
Бил, впрочем, и татар... И русских бил...
Сплеча, как попадя, — от молдаванина до финна.
Не из шовинистических начал,
а просто чтобы не шатались мимо.
Дед в СМЕРШе был — но не из палачей.
И сам, как понимал, служил России.
Но не прислуживался — сытых москвичей
ногами молотил что было силы.
Ментов давил подошвой — как клопов...
Но посреди законов и понятий
распухло дело тихою сапой —
рвались тесемки от бумажек мятых.
Бежал в Израиль. Не спустил жидам.
Потом за них в Ливане бил арабов.
Все примелькалось — лица, города,
слова, идеи, кореша да бабы.
А пуще смерть приелась и раздор.
Да всякий шум, и топ, и громкий голос...
Он босиком выходит в коридор,
а нерв натянут — и дрожит как волос.
Такого натерпелся — ого-го!
До черта всяких: правых-виноватых...
Ну а своих, по сути — никого.
Один в Казани малахай на вате!
Но никогда не предал тех, с кем пил.
И с тем не пил, с кем выпить не хотелось,

Он крепким риском голову кружил —
душа рвалась, а вместе с нею тело.
Картошку испекли. Есть черный чай.
И пыльная луна над Мертвым морем
все понимает, а из-за плеча
глазницами чернеет мертвый город.
В Казань вернется как-нибудь потом,
закурит «Приму», желваком играя.
Его соседи назовут жидом —
за длинные рассказы про Израиль.

1999

* * *

Семёну Кацу

Спотыкаясь, бегу —
а она мне всё дышит в затылок.
Недосуг обернуться, свернуть недосуг,
все стучит и стучит —
до чего оно мне опостылело,
суетливое сердце,
что заново гонит на круг.
Обернусь.
Задыхаясь, пойду ей навстречу.
На ходу каждый листик запомню,
травинку и куст —
и недолгая жизнь
улыбнется легко и доверчиво,
все еще зеленея
на первом осеннем снегу.

2001

Подражание Данте

Мне чужды ангелы, коль долу не сошли
и здесь у нашего костра не сели
во чреве опозоренном земли,

коснуться хлеба нашего не смели.
Милее бесы мне, они и мы
заключены, как в клетку, в смертном теле,

а значит, — обитатели тюрьмы.
И с ними мы не так уж различимы,
над нами свод куда темнее тьмы.

Гонимы ими — и они гонимы.
Но мне, как жертве, ближе палачи,
не херувимы в эмпирее синем.

Скажи свое, о Боге умолчи.
О человеке отзовешься стоном —
пусть вороньё над папертью кричит,

но никому не внятен крик вороний.
А волны вечности с собою унесут
и славословие, и вопль похоронный.

Почто нас, человеков, мучит зуд
напутствовать, предстательствовать, править?
И помыслы высокие ползут...

Мы кувыркаемся в грязи кровавой,
и хруст костей в гремучем колесе
заслужен нами, обретен по праву.

Я, как палач, не отрицаю сей
необходимости — иного не умея.
Я, как и вы, хочу душою всей

добро творить и пестовать, лелея...
А в вышине всевышний судия,
но мы суда его не разумеем.

На том поладим, что и вы и я
самим себе поверить не посмеем:
палач и жертва — кровная родня...

2001

* * *

Когда-нибудь вымоют пол
и настежь раскроют все окна,
и солнце обрызгает стекла,
и сядут гурьбою за стол.
Остатки съестного снесут
на кухню и выкинут крошки
на двор. Одичалая кошка
спугнет золотую осу.
И, хлопнув калиткой, уйдут,
чтоб снова вернуться под вечер,
и пес наш, никем не замечен,
уснет под кустами в саду.
А мы, пребывая с тобой
в какой-нибудь тьме или месте,
пробудимся — порознь иль вместе,
а более ничего.

2001

* * *

Ты дивную быль нам сегодня поведал, певец,
о том, как вернулся в Итаку наш царь богоравный,
и подвиг героев стяжал им достойный венец —
подобна волнам, грохотала немолчная правда!

Но воды объяли, покрыли меня с головой.
Я сам себе родина новая — берег пустынный.
И где бы я ни был, в ушах раздается прибой,
а плечи покрыты худой корабельной холстиной.

Разрушенный дом, по дорогам бредет Телемах,
навстречу жена не сойдет по ступеням высоким,
и боль океанской волной набирает размах,
и неба сияет безжалостный лик волоокий.

Куда как охотней посмертную славу поют.
Достойней ли жить, умереть ли достойней герою?
Что слава — верните надежду мою —
я тысячу раз завоюю великую Трои!

Да станет судьбой моя правда, что ныне реку,
ее сотворить не умели бессмертные боги.
Но где человека земной обрывается путь,
сквозь время разверстое ляжет иная дорога.

Пусть Мойры всесильны — вращается веретено,
возможно и должно ту нить разорвать человеку.
И через века Одиссей, воротившись домой,
незыблемый дом обретает на вечные веки.

И вот я иду — Эвриклея меня узнает,
и Аргус пролаял и умер на отчем пороге,
и сын мой выходит, и весла на плечи берет,
а волны соленую пену швыряют под ноги.

2001

* * *

Игорю Ткачу

...нет, не друзья, скорее, кореша,
приятели,
ну, вместе выпивали...
Мы парком шли до леса
не спеша,
на самый край,
куда народу мало
приходит.
Так, почти что никого,
ну, и не слышно городского гула...
Ни разу не были
мы там
в последний год,
но иногда
меня туда тянуло...
...уже светает,
в щели лезет свет...
Любая боль проходит через месяц,
ну, через год.
Ну, через десять лет!
Нет разницы, позвольте вам заметить...
Теряешь,
а потом теряешь боль.
А это значит — новая утрата.
И после существуешь,
будто моль
в пустом шкафу.
Но остаются даты,
воспоминания и прочая труха,

и ты об этом можешь и не думать,
не говорить
и зова не слышать
прекрасного далёко,
где ты умер.
Вернее — жил...
А жизнь была проста.
Такую можно объяснить на пальцах.
Чем он и занимался,
но устал.
Не объяснилось, сколько ни пытался.
Не объяснять,
а разливать «на глаз»!
Глаза к глазам становятся теплее...
Сей фокус он проделывал не раз,
теперь — никто.
Виной — пространство-время.
Но если б выйти
снова — и туда!
Сыскать то место — ящик и канаву!
В бетонных берегах течет вода,
а желтый куст
стоял как будто справа...
Течет вода — еще течет вода!
Как будто та же, но уже иная.
Черным-черна,
но загляни туда
и вопросы —
я ничего не знаю!
Что за портрет
качается, не густ?
Насквозь тебя виднеются деревья.
Кто молится кусту, упав под куст,
не ты ли опустил на колени?

И перестал, пресекся,
замолчал.
Очки протер,
и, вновь воздев их на нос,
вдруг встать не смог,
подумав невзначай,
что больше никогда уже не встанешь,
поскольку ни к чему.
Что никогда...
Что ты зарекся впредь от всяких планов,
чтоб только видеть,
как течет вода,
и понимать, что умирать не рано.
...и жить не поздно:
насыпь и кусты,
над ними небеса — ни стен, ни окон...
Кто там стоит в кустах,
не ты? Не ты?
Но не видать следов в траве высокой...
Но я о нем хотел, не о себе,
таких, как мы, до черта наплодилось...
Для нас и для себя он был чужим
(кому он был родным,
скажи на милость!).
Хотя тот город,
тот, что он любил,
не променял бы ни на что на свете...
А может, променял бы,
если б жил.
Но не успел,
позвольте вам заметить.
Скорей всего, он там,
пока я жив.
Сидит на ящике и курит
к ветру боком —

картинка, правда, смазана,
дрожит,
подробностей не различает око...
Не в этом дело.
Больше нет его.
Но, подтверждая то, что жизнь феномен,
при свете фонаря,
скрипя дугой,
трамвай проходит мимо —
пятый номер.

2001

Сентябрь

1

Шоссе уходит за город, и лес
все видит, все запоминает.
В округе мало есть подобных мест,
по крайней мере, я других не знаю.

Там мусор тлеет в ломаных кустах,
и остро пахнет гарью утром ранним.
И слышно, как проходят поезда,
когда бредешь в некошеном бурьяне.

Осенний свет беспомощен и тих,
постройки за железною дорогой
почти невидимы, и все-таки без них
пейзаж был веселей — а так убог он.

Собачий труп еще висит. Петля
сверкает свежую росой, и, в общем,
смерть тут, в кустах, одной забавы для,
не редкость поутру в полузабытой роще.

Уже сентябрь. Все еще висит.
На проволоке, посреди поляны.
И ветер труп собачий шевелит,
в следах земля — разглядывать не манит.

Воскресный день. Почти что тихо, и
там, за стеной, «последние известья»
соседи слушают... Так что тебя манит
идти от голоса людского к лесу?

Живого голоса... Как будто среди них
(а может, ими) ты уже отмечен,
и вечностью проглоченные дни
неотвратимо движутся навстречу.

2

В овраге — лес. По дну бежит тропа.
Вокруг листва, листву колышет ветер,
здесь листопад — вот! Вот, еще упал!
Но всех не перечесть и не заметить.

Из города туда, где ты стоишь,
ползут дома, ступени, водостоки...
Нет ничего тревожной стен и крыш,
когда нигде не спрятаться от окон.

Деревья ждут, воздеты к небесам.
Немеет лес в мольбе тысячерукой.
Теперь его разверстые глаза
полны неотвратимую разлукой.

И ветви голые хватают небосвод,
сплетая пальцы в нерушимый невод.
Ты эту бездну переходишь вброд,
ты смотришь вверх — тебя пронзает небо.

Там, в синеве, где тонет синева, —
сухой листвы неразличимый шорох,
туда летят последние слова,
там воздух спит в своих глубинных норах,

там промысел осеннего суда —
лист улетает, небу неподсуден.
Его несет — нас занесло сюда,
но, видимо, недолго тут пребудем...

Сутулые, скользят, скользят листы
по улицам, и тянутся к оврагу,
где в страхе затаились я и ты,
как прочие — беспомощны и наги.

Доносит ветер поминальный вой,
они уходят, покидая город
(их шарканье плывет по мостовой),
неотличимы от песка и сора.

Они в бреду. Уходят всей толпой.
Зима смиренно дышит им навстречу,
и голоса идущих на убой
ты слушаешь — но их невнятны речи.

Скольжение листа есть естество,
его полет непостижим и светел.
Уходит, навсегда оставив ствол,
и падает — один на целом свете.

Невидимый до смертного креста.
Листва есть лествица в непостижимой чаще,
где мы с тобой трепещем, два листа,
но в чаще неприметен лист дрожащий.

И мы с тобой того же естества —
листва и лес, от края и до края,
и где сыреет под ногой листва,
над нами тяжела земля сырая.

Уже зима, все замела зима,
за огородами, где брошенная роща
еще стоит, да только нету нас,
и сетует — и мы с тобой возропцем!

2002

* * *

Нет, мы не путь — мы только вехи,
случайно воткнутые в снег.
Не нами выровняет бег
февральской мутью стылый ветер.
Но каждый ветром сбит и смят,
по-своему дорогу кажет,
и след кружит, и цепко вяжет
живучий человеческий взгляд.
Ударит ветром по зиме,
обтёрханный продует угол,
и зажелтеет в топке уголь,
а в дверь незапертую — снег.

2002

* * *

...и в твоей слепоте
косо падает лист
мимо стен, мимо лиц,
гаражей и больниц.
Он возносится вниз,
где непрожитых лет
вспять плывущим во сне
померещился след.
Что же так невопад?
может, счастье претит?
Все открыты пути —
а он косо летит!
А навстречу ему
гулкий сумрак аллеи,
над асфальтом сыреет
желтый свет фонарей.
Где стоит монастырь
без дверей, без крестов,
над дорогой пустой,
среди красных кустов.
Только веки сомкнешь —
облаков молоко
приникает легко
к переплетам окон.
Наше завтра грядет
среди мокрых ветвей —
позабывтый рассвет
в немоте пустырей.
Ты заплачешь, любовь,
просто так, ни о чем,
в полусне горячо
прижимаясь плечом.

Не услышишь меня.
— Обернись! — я реку.
Мой небесный лоскут,
обращенный в реку.
И темнеет вода,
и касается лист
отражения лиц,
гаражей и больниц.

2002

* * *

Обладатель авоськи, набитой консервами,
обладатель стакана и пары очков,
пиджаками едва выделяясь на сером,
вы уже далеко-далеко.

Это было наутро или, может, под вечер,
я припомню и соплю утру,
как с железной скамейки глядели доверчиво
на большую муру.

А мура грохотала, пыхла и мчалась,
ни годов не считая, ни дней.
Все расшлепало в пыль, а скамейка осталась —
вы сидите на ней.

Я отчетливо вижу худые колени —
вы подперли спиною вокзал,
и хохочет площадка железной ступенью,
и хрипят тормоза.

Ваше небо подкрашено прачечной синькой,
розовеет портвейном закат,
и уходит железнодорожная линия
в облака.

Поезд тронул неспешно от станции Лбо,
и, минуя буфет,
я рукой помахал — не расслышал ни слова,
что кричали в ответ.

Обладатель авоськи, набитой консервами,
обладает, авось, и бессмертной душой.
Пусть концепция эта убога — я верю,
что не хуже любой.

2002

* * *

В пустыню каменные реки
несут молчание свое.
Собирают камень человеки
и строят ветхое жильё.
И греет камень дым полыни,
и очага смиренный свет
по стенам, укрепленным глиной,
блуждает чередою лет.
И камень слушает молитву,
и женский плач, и детский крик,
и капли падают в корыто,
и в сумерках свеча горит.
Но человека век недолог,
и, продлевая бытие,
ложится камень в землю голым,
каким явился из нее.
Они уходят — род за родом
в свою родимую реку,
и снова каменные воды
под небом каменным текут.
А слово, сущее вначале,
которым сотворилась плоть,
всечеловеческой печалью
предвечный напитал Господь.

2002

* * *

Нету силы овечьей поднять головы,
снова слушая тысячелетние речи.
Чахнет воздух, и небо смердит человечиной,
древним розовым гноем площадной молвы..
Запеваает над нами слепое стекло,
всё глядят невиновные в очи невинных.
Из бетонных подвалов воняет уриной,
а в толпе не упасть — и дышать тяжело...

2002

* * *

Не снится мать.
И потому,
что нет любви,
и сна не стало.
Себе приснишься самому,
и одного себя немало.

А мать, во сне,
глядит в окно.
Белеет смутно подоконник.
Рассвет, но пусто и темно,
нейдет навстречу сын-покойник.

2005

Станция

...и там, в преддверии Большого Взрыва,
вселенная, как эмбрион нарыва,
была прыщом.
Но, знаете ли, гной
уже присутствовал в материи —
в иной, сознанию, в общем,
недоступной форме.
И мы там были — пассажиры на платформе.
А может, не было ни поезда, ни шпал —
там черт еще ногою не ступал...
Вернее, Бог.
И всё это: ни лес,
что сохнет за железною дорогой,
ни мы... А кстати, как зовут вас? — Гога!
— в пространстве измерения любого...
Но, впрочем, не было ни измерений, ни пространств,
как говорят китайцы: «Пустота
есть форма». Мысль не проста!
А глянешь — вон, подобием креста
уже вы руки на груди сложили,
а ведь еще, по сути, и не жили,
по сути если — ступка без песта!
Вы неженаты? Значит, пест без ступки.
И ведь, поди, побегали за юбкой,
а все один — тут арифметика проста.
Так вот — на это все была причина.
В непостижимом виде, без почина
хирели наши судьбы, а судьба —
во времени развернутое действие
благое, а бывает, и злодейство...

В безвременье вы некто, лишь душа,
что проплывает эмпиреем горним.
А вот сейчас вы — Гога на платформе,
уже конкретно, пребывая и дыша.
Как видите, я только из больницы —
там шевелятся мятые страницы,
дней пять... в перитоните и бреду...
Сказали — помирал, да вот, не помер!
И про Вселенную, на койке лежа, понял,
хоть ждал, что на носилках сволокут:
рай тут, где никакого рая!
А гной стекал по трубочке в сосуд...
— Вы по призванию? — Философ!
— Как и я! А где сознание, там и бытия
сполна нам хватит, кстати, не хотите?
— Охотно! — Только пробку отвинтите,
она из тех, которые... Смотрите!
Не поезд? — Нет, скорее, просто дым...
Я, знаете, немного нелюдим,
и женщины, ну как бы вам сказать...

Над ними ветер гонит сор и пыль,
над ними нету ни луны, ни солнца,
и желтый свет лишь в маленьком оконце,
на занавеске — очерк головы.
За ними только станция пустая.
Там холодно. Газета, пролетая,
шуршит, касаясь краешком стены,
да грязь — что в океане буруны.
В дверях распахнутых виднеется поселок,
чернеют буквы, может, «Новосёловск»,
а может... не желает видеть глаз.
Такая глухомань, что в самый раз

забиться в угол, чище где и потемнее,
и потеплее, кстати. Леденеет
уже над лесом первая звезда.
Всё тихо. И не ходят поезда.
Звезда глядит, как двое в темноте
беседуют и дуют из бутылки.
Надсадный визг из дальней лесопилки
донесся вдруг — и снова тишина.
Они беседуют, и так им хорошо,
как будто кто-то в вышине над ними —
давно знаком, но позабыто имя —
сочувственно кивает головой.
Нет, не чужой, скорее, даже свой.
Он щеку чешет, неказист на вид,
и он за всё на свете отвечает —
печальный друг, не станции начальник.
И скорый в черной пустоте летит...

2007

* * *

И правды нет, и ложь не тешит.
Слепцы ведут, мычит народ,
нам пыль летит в открытый рот,
и на кресты собаки брешут.
Спаси, помилуй, сохрани!
Пусть завтра мир — война сегодня!
Ты накормил уже голодных,
о Боже, сытых накорми!

7 марта 2008

* * *

Будем жить низачем — по привычке,
низачем, как зима или лето..
Прижимается куст бересклета
низачем — просто насмерть и слепо,
низачем — это слепо и насмерть,
к поржавелой железной ограде.
Низачем, низачем, по привычке
прорастая-врослая-вжимаясь,
низачем — просто жизнь, просто ветер,
пролетая навеки и насквозь
все дома, все кусты, все ограды,
обнимая, во сне обнимая
низачем бесприютную площадь
и трамвай, что уходит за угол.

2009

* * *

Мы с тобой низачем, по привычке.
Низачем, как зима или лето.
День за днем, и слова так нелепы,
(ты молчишь), и уходит за угол
наш трамвай в бесприютную площадь —
ничего незаметней и проще.
За окном, ты глядишь и не видишь,
над оградой чахлого сквера,
куст дрожит на ветру — как обычно —
там трамвай бесприютную площадь
(мы с тобой просто так, по привычке,
ты молчишь) пересек и уходит.
Ничего незаметней и проще.
Так растительно, ясно и плоско —
и листву его ветер полощет —
прижимается куст незаметно
к поржавелой садовой ограде.
Прижимается куст бересклета
низачем — просто насмерть и слепо,
прорастая, вращая, вжимаясь.
И листва за листвой облетает,
мостовую крупой обметает,
и снега оседают и тают,
и за летом кончается лето.
А рука, что страницы листает,
торопливая, ищет ответа,
так мучительно ищет объятий,
а страницы разъяты, разъяты!
И гудит нескончаемый ветер
на мгновение соединяя,

то, что мимо уносится розно,
повторяя: «Не поздно! Не поздно».
Низачем. Просто насмерть и слепо.
Низачем — это слепо и насмерть.
Как ты это, скажи, называешь?
Ты названья сказать не умеешь,
это слово помыслить не смея.
Ты, немая, во сне обнимаешь.
То листва обретается в прутьях,
то растительно вплетены руки,
то слепому безумью награда —
запыленного сквера ограда.
Это ветер, всего только ветер,
прорастая навеки и насквозь
все дома, все кусты и ограды,
обнимает, во сне обнимает
низачем бесприютную площадь
и трамвай, что уходит за угол.

2009

* * *

Собраны вещи, и «сидор» затянут узлом,
пылью дорожной запахло и остро, и горько.
Время уходит — навеки оставленный дом,
время живое рыдает над временем мертвым.
Хлопнет калиткой и тут же вернется назад.
Слышишь, скрипят, как бывало, худые ступени...
То на пороге замрет, и — глазами в глаза,
то на коленях стоит, обнимая колени.

2010

Теилим^{*}, 137

Я плачу о тебе. В твои врата,
в живые стены не войти иначе.
Сырые сумерки. На миг — пролет моста
и снег. Душа не умирает, плача.

Пускай отсохнет правая рука,
глаза ослепнут, если позабуду,
как желтый лед под мост несет река,
как на причале вдруг немеют губы.

Я все иду к тебе, Ерусалим.
Обветрена и выстужена вера.
Разъяты холодами стольких зим,
приблизилась — и тот, и этот берег.

Ты разразился надо мной, Господь!
Пусть мертвецом оденусь в пыльный камень,
когда я утеряю город тот,
чьи крыши снегом выбелила память.

На реках Вавилонских мы сидим.
Над нами улицы и свет его небесный —
ты всюду и нигде, Ерусалим.
В твоих вратах умру, чтобы воскреснуть.

2010

* В русской традиции «Псалмы».

* * *

Борису Марковскому

Тебе говорю, говорю тебе:
губами сейчас шевеля,
фальцетом моим читаешь себя.
Будто мяч ненароком поддел ногой —
такие фокусы зовутся судьбой.
Мяч улетает туда, где ты,
надев сатиновые трусы,
играл мячом, не был собой,
а мяч не играл тобой.
Подергиваясь в кармане пальто,
телефон сообщает не то,
чего ожидал, полагаясь на
жизненный опыт сна.
Попробуй сочти —
всё позади или почти.
Обмирая, ты узнаёшь
лестницу и сухую дрожь,
слышишь шаги —
там, у бывшей твоей двери,
сумерки, желтые фонари.
Я говорю тебе, я:
коснись рукой фонаря,
возьми желтый свет —
это принадлежит тебе.

Как и ты, ручку дергал, вертел замок,
но отпереть не мог.
Не закрывай лица,
выслушай до конца —

всё перескажешь мне:
как мчатся автомобили,
как однажды
видел в окне
себя
в свете средневропейского дня
за стеклом, поседевшим от пыли,
ибо видел меня.
Кому сообщишь,
как решил позабыть, — и смог,
как полна сейчас жизнь,
как лишена сожалений —
«Frankfurter Allgemeine Zeitung»
шевелится у самых ног.

2011

* * *

...и выходишь наружу остриженным наголо,
но заборы и вышки еще торжествуют победу
над пространством и временем — суммою тесных углов,
чей железобетонный квадрат геометру неведом
до поры. Рот раскрыв в кинофильме немом,
где надсадный твой крик изначально нуждается в титрах,
до райцентра бредешь по шоссе, содрогаясь умом,
и лежит, холодея, земля, всем охочим открыта.
Сочиняешь стихи — так рождается ложь о себе —
будто авторский текст отчужденно ползет по экрану.
И касается бодряя музыка сизых небес,
застывая на сизом, чернеет на вышке охранник.

2011

* * *

Падает дождь золотой на́ реку, город и остров,
как посветлела вода в черном пролете моста!
Вспыхнул осколок стекла — так ослепительно просто
вдруг обрывается жизнь, так безнадежно проста.

Свет золотой на воде — или волна золотится?
Или пылают светло сами причал и буксир?
Комнаты полупустой угол опять осветился —
зеркала огненный край в памяти, стертой до дыр.

Так ли тебя я любил, так ли тобой любовался,
так ли дрожал на стекле чутко горящим огнем?
Падает свет золотой, словно во сне улыбаясь,
падает с черных небес, падает ночью и днем.

Издалека долетит утренний скрежет трамваев,
в золоте пасмурных вод тихо плывут облака.
То ли горят в вышине, то ли под мост улетают,
и небеса подо мной, а надо мною река.

2011

* * *

Ничей и никому,
в пустое небо.
Сквозняк поселится в доме.
Ничей и никому.

2011

* * *

Вот из камней сочится молоко.
Верблюдов гонит ветер, гонит ветер.
И семечко-кочевник так легко
живет на белом свете, белом свете.

Едва очнется в каменной пыли,
в горячий ветер пустит корни, пустит корни.
И встанет над землею ком земли,
скиталец в мире горнем, в мире горнем.

И до начала, до скончания лет
над бездной носится легко и грозно.
Восходит Млечный путь, яснеет свет.
Верблюды лижут звезды, лижут звезды.

2011

* * *

Ты кричишь мне «ау!», чуть белеет твой плащ сквозь кусты,
и смеешься опять, беспечально, светло и бездумно.
Я уже разумею, что окно и стена, — это ты,
что соврали над глиной худые кларнеты и трубы.

И когда через площадь, как в прошлую зиму, бегут
муравьиной бессмыслицей толпы по серому снегу,
разумею, что жизнь продолжается тут,
как последняя встреча, что Бог посулил нам, но не дал.

Вот желтеют аллеи, и снова смыкается круг,
и скамья, и кусты, и никто никогда не разбудит.
Мы как прежде с тобой. Разумею навеки и вдруг,
что как прежде с тобой, — никогда уже больше не будет.

Там в цементные шорты одетый, играет горнист,
повисает забытая нота над клумбою голой.
Я сегодня услышал — пронзительно ясен и чист
над моею постелью опять раздавался твой голос.

Собирай же каштаны в нашем парке, кричи мне «ау!»,
ничего кроме дня, кроме этого тихого смеха.
Мама! Мама! — ты где, погоди! Я иду!
Мама! Мама! Ты где? — меж деревьями катится эхо.

15 марта 2012

* * *

Мы спим.
Сухих гробов ряды.
Горячий прах прикинулся землею.
Тут захоронен желчный вкус беды,
и губы шелестят, желты от зноя.
Обрез истертый горестных страниц,
код муравьиный, код колючих знаков.
Где правда, где насыщенный смысл,
теплом и духом с хлебом одинаков?
И слепоты еще горяч песок...
И язвы древние истерплены привычно!
Шафранный палец тихо трет висок,
все сочтено годами — чет и вычет.
И пузырится новая толпа,
и новую налаживает клетку
сама себе... Подпрыгнул и упал!
Не то мудрец, не то полукалека.

2012

* * *

Гляди, гляди сюда, отец,
твои глаза еще покрыты пеплом.
Прости меня — я не полезу в петлю
и за любовь не надломлю крестец.

Я не могу не думать о тебе,
а думать нынче не достало силы.
Мне дела нету до твоей могилы,
и до того, что ты теперь — портрет.

Я не могу сродниться с пустотой,
поскольку из других живущих ныне,
кому же быть тобою, как не сыну,
пускай тут и подмена налицо.

Я здесь один среди камней и трав,
относит дым за всхолмия и доли,
зияют небеса, пусты и голы,
я здесь один с тобою у костра.

Из всех времен милее мне «теперь»,
сам-третий дух между отцом и сыном,
я в бесконечный миг несотворимый
войду надежно, как в родную дверь.

1 декабря 2013

* * *

Обжитый угол выстудит зима.
Я побреду, едва переступая,
туда, где опускаются, не каюсь,
седые сумерки на желтые дома.

Там не в чем каяться — одни грехи
угрюмо семят другим навстречу,
сутулый вечер тяжелит им плечи,
в руках авоськи, а глаза сухи.

Там плавниками шевелит трамвай,
до самых стекол налит рыбьим жиром —
в нем плавают немые пассажиры,
качаясь, как подводная трава.

Потомки жертв — потомки палачей.
Всё позабыли и переженились.
Они сегодня ночью мне приснились
под скрип дверей и звяканье ключей.

Трамвай проедет, да и я пройду,
чтоб в страшном сне кому-нибудь присниться
когда-нибудь. По сути, наши лица
напоминают прежнюю беду.

2013

* * *

И утро настает,
и вот шоссе
слепящей полосой летит навстречу.
Он слышит,
как шуршит асфальт
и ветер.
Пространство расступается пред ним.
Он говорит,
и отвечает сын.
Он говорит.
Летят к нему холмы,
летят навстречу светлые громады,
дворцы из воздуха.
И отвечает сын.
Они беседуют о чем-то столь пустом,
о чем-то незначительном, неважном,
и значимо лишь то,
что слышит каждый
другого.
Он говорит,
и жизни суета
уже ведет нехитрый свой мотивчик,
который не припомнить,
будто птичий.
Шуршит асфальт.
И снова
небеса.

Дорога над ущельем среди гор,
над самым краем нависают скалы,
отсвечивают осыпи,
отвалы,

и ласковый
струится разговор.
Вдруг резкий звук,
а после тишина.
Как будто капля звякнула в корыто.
Земля летит,
разверста и открыта.
Он видит,
как летит к нему земля.
Он говорит,
молчание в ответ.
Он говорит,
в ответ ему молчанье.
Он обернулся.
Будто бы нечаянно
к плечу клонится
сына голова.
Он, отвернувшись, замолчал.
И тут
ему пришла
естественная мысль:
сын спит,
и голова его повисла.
Он ненароком задремал и спит.
Конечно, не иначе.
Он сейчас
заснул и ничего теперь не слышит.
Дорога дальняя
его колышет,
устал и вот теперь
спокойно спит.
Не смея шевельнуться,
он сидит.
Сидит и снова смотрит на дорогу.

Но ничего не видит, и тогда
впервые это на него находит —
минуты обращаются в года.

И день за днем
шуршат пустые дни.
Ему навстречу выплывает город.
Конечно,
это только сирый морок
бессильно расступается пред ним.
Он знает —
это люди и дома.
Но узнавая,
знать уже не хочет
ни мостовой,
ни двери,
ни окна.
Не слушая,
он слышит:
всё
вокруг
скрипит,
ворочается,
движется,
грохочет
и затихает
без причины вдруг,
и чей-то голос
среди многих прочих,
который ни припомнить
ни забыть.
Но с каждым шагом город тише,
тише.

Он замирает
посреди толпы,
неслышимый другими
дышит,
дышит.
Шоссе уже летит к нему.
Летят
холмы, деревья,
белые долины
и облака,
и выше, где над ними,
куда уже не достигает взгляд.
Где тот,
кого хотел бы спросить,
услышать голос и призвать к ответу,
кого, как нынче ясно, вовсе нету
и не бывало и не может быть.
И все вокруг, конечно, ведь не сон,
поскольку сон, конечно, то, другое,
где он педаль нащупывал ногою,
чтобы в последний раз затормозить.
Но мир неистребим,
и снова — щёлк!
Сквозь крышу солнышко блеснуло.
Лучик
вонзился в сумрак,
тоненький,
колючий.
Вонзился,
и не отвечает сын.
А в крыше маленькая дырочка,
и чуть
видна, белея на изгибе локтя,

рука из рукава.
И воздух легкий,
легчайший воздух
больше не вдохнуть.
И день еще,
и год идет за годом,
и город тот же, и сияют горы
за Мертвым морем прямо над шоссе.
Он обновил давно автомобиль.
Теперь другой,
а тот гниет в сарае.
И в крыше дырочка,
и ржавчина краями,
и пыль повсюду,
и повсюду тишина.
Он тих и ровен,
всё домашние заботы.
Он бреется и ходит на работу.
Он дышит,
улыбается жене.
Он засыпает и храпит во сне.

2014

* * *

Сижу в самом себе, как в клетке,
ни дел, ни мыслей, ни речей.
А за окном — худой и меткий
жиган, жиганчик, воробей.
В нем жизнь скворчит и дыбит перья,
вдруг вспыхнет взрывчатый полет,
он мир дрожаньем крыльев мерит,
он умирает и не мрет!
Он зол, и радостен, и точен,
и черный глаз его свиреп!
А ты замучен и просрочен,
как сорок братиев нелеп.
Всего два-три уместных слова
и точка вовремя. Начни.
Два-три прыжка, чирикни снова,
хоть букву выдай на почин!

2014

* * *

Прохожий,
проходишь.
Асфальт.
Одинокая фара трамвая.
Ветер гонит газету.
Прощай!
Прости, я ведь мог обернуться,
глазами бы все рассказал...
Я унес бы с собою
походку, твой узкий затылок,
молчаливое «нет»
всем огням,
всем шумам городским...
Но когда к фонарю
ты приблизился,
чтобы растаять, —
как рванулась ко мне
твоя тень!

2015

* * *

Цветет белена,
ни мир, ни война,
всё одно —
позабыл давно.
Течет река,
Над ней облака,
далеко-далеко —
не достать рукой.
Стал другим,
влез в ботинок с чужой ноги.
Цветет белена,
не достать до дна.
Луна висит высоко
над обрывом,
где пали
с Диром Аскольд.

8 марта 2016

* * *

Позабуду всё,
стану другим.
Влезу в жизнь,
как в ботинок с чужой ноги.
Присушу улыбкой
оскаленный рот.
Изучу язык,
а мыслям дам укорот.
Вовремя охать,
к месту молчать,
по утрам стану пить кофе,
а не вчерашний чай.
Человек в штанах,
прохожий с добрым лицом...
На того похожий,
раздавленного колесом,
который в газете
и с экрана уже не глядит,
потому как не может,
цементовозом сбит.
Во сне луна висит высоко
над обрывом,
где пали с Диром
Аскольд.

8 марта 2016

* * *

День-старичок.
Медлителен и сед.
В такие дни, бывает, спишь на стуле.
И снится, будто умерший сосед
с авоськой на углу стоит, сутулясь.

Сыскать бы дело, да окончились дела.
Что на глаза попало, лезет в руки.
Как та курортница, что как-то раз дала, —
не по нужде, а, видимо, со скуки.

5 апреля 2016

* * *

Завел любовницу,
тут же ударил сквозняк.
Зябко, в доме хлопают двери...
Простыня виснет с кровати, как белый флаг,
явственно чувство потери.

Но, застывая у шифоньера на полчаса,
подглядывая за улицей, думая лишь о ней,
слушаешь неясные голоса
из подкорки, из-под ржавых корней,
где надвое рассечённые черви
прячутся в сладко воняющий чернозем,
силясь слиться в одно,
которое было первым.

1 июля 2016

* * *

На буром темени, заросшем сединой,
печать наложена воловьего копыта.
Звезда над Вифлеемом, а корыто
все вылизано дочиста тобой.

И глаз уже касается пустот,
но ангелы затиснуты в упряжку,
влекут ярмо упрямо — ляжка к ляжке,
и темный мед еще течет из сот.

Замешаны беда и лебеда,
всего немало и всего досталось.
А все же на уме: еще хоть малость!
А там пускай не будет и следа.

Пускай секунда — но дыханья для.
Мне побоку трусливый бред посмертья,
пока еще в саду гуляет ветер,
опавшею листвою шевеля.

2016

* * *

Ты чуешь полет совы,
касаясь босой ногой
холодной земли, увы,
такой же, как ты, нагой.

Не подняв головы,
видишь, как вдалеке
среди мокрой травы
тень бредет налегке

и, белея сквозь ночь
страннической сумой,
то ли уходит прочь,
то ли идет домой.

Молишь — иди, иди!
стонешь — куда, куда?
Ветер тебя суди,
сурепка да лебеда.

В яви или в бреду,
в шуме глухих небес,
если только иду —
значит, иду к тебе.

2016

* * *

Тень в пол-лица, разохшийся паркет,
трюмо, стаканы, узкая кровать.
Бессонницей все воротилось вспять —
и женщина, и тень на потолке.

Там тишина густела столько лет,
на кухне гулко капало из крана,
а за окном — то ржавый снег окраин,
то желтых фонарей полночный свет.

И жить не поздно, и не рано умирать —
чумная кровь еще гудит и ранит.
Да, жить не поздно, умирать не рано —
трюмо, стаканы, узкая кровать.

В бессоннице ни окон, ни дверей,
тень в пол-лица и смятая страница.
Скорей всего, мне это только снится,
верней всего, что это снится ей.

2016

* * *

В тихий скверик войди. Распрощайся с собой.
Стань роднее граниту, зеленым фигурам фонтана
и траве. Тут без помощи слов голубой
холодеет асфальт да бормочет вода неустанно.

Ты и сам вещество в говорливом его естестве,
ты фонтанова действия непременный творец и участник.
Посвященный граниту, навеки присущий траве,
это слышится твой на ветру монолог беспечальный.

Но никак в H₂O не утонет цементный тритон,
и дробится струя о шершавые груди наяды,
осыпая кусты и траву перелетным дождем,
да гудит за домами шоссе, недоступное взгляду.

2016

Шомер Исраэль*

Ночь отрезала пол-лица
у охранника-подлеца.
Ну и сука! — лежит и спит.
Только вот во сне не сопит.
А в окошке луны коса
да сияет Созвездье Пса.
И полно в голове свинца
у охранника-подлеца.

2017

* Дословный перевод с иврита — «сторож Израиля».

* * *

О, пузырьчек розовой слюны!
О, ароматно-желчный отблеск мысли!
О, вкус речей — язык мясистой тьмы,
О, тайным умыслом повязанные числа!
Пожухлой бороды коричнево-гнильный кус,
осанка грузная тысячелетнего всезнайки,
в надлобье желтый воздух густ,
а губы мертвые — свинцово-тусклой спайки.
Портновский метр исчислил путь звезды.
Музыкой сфер гремят часы-кукушка.
А на окне — горшочек резеды,
и штраймл в чехле с собольею опушкой.
И Бог любим, как старая жена,
чьи болести и древни, и понятны.
О, свет звезды — застыла у окна!
На драном фартуке непостижимы пятна.

2017

* * *

Прощайся с собой
простейшим жестом руки.
Иди походкой слепой,
куда идут старики.
Это — сквозь решето
убегает вода,
это всего лишь то,
чему учился всегда.
Всю короткую жизнь,
долгую маяту,
как ее ни скажи, —
горечь ее во рту.
Дождь идти перестал,
лишь едва моросит,
прямо в пролет моста
белый катер летит.
Чайки кружат над ним,
собственно, вот и всё.
Дым летит из трубы,
ветер его несет.

2017

* * *

...так очевидно реки и холмы
и голый лес где по оврагам листья
вытаивая изо льда в конце зимы
о нас уже худого не помыслят
и я не поминая о тебе
не верю не люблю не ненавижу
повсюду снег всего скорее снег
вот почему теперь к тебе я ближе
нас смерть не разлучит поскольку жизнь
на этот раз ее опередила
твой прежний голос все еще дрожит
а нынешние — время поглотило
ты слышишь мертвый лес гудит
безлистный лес раскачивает вьюга
и понимаешь что не убивает жизнь
мы убываем потеряв друг друга
а потому нам завтра ни к чему
поскольку вечность существует нами
и сущее — сугроб в пустом доме
где мы с тобою ныне только память
ты слышишь как шуршащий за окном
мелькает снег асфальт скребет поземка
и слышу я как обметает дом
мы слушаем и только тем спасемся

2017

* * *

Так давай без насады, без паники —
ненароком тебя занесло —
потрошитель утерянной памяти,
ворошитель несказанных слов...
Твой нечаянный взгляд-полукрик
к желтым стенам внезапно приник,
будто обнял умершим отцом,
все простил — и к подкладке лицом.
Вот и замер, стоишь до сих пор:
лишь кусты да беленый забор.
Затрепещет в летучей возне
защелкает, заплачет, просвищет
ошалелый двойник, что во сне
просыпаясь, таращит глазищи.
Ищет, ищет — чего не терял,
не имел и не видывал сроду,
будто в мутную воду нырял,
находил — и выкидывал в воду.
Жизнь топочет, беззлобно шутя
откликаются окна незрячие...
Топят спьяну в ушате котят,
а потом матерятся и плачут.
Уходи, как непризнанный сын,
уноси свою личную вечность
и бубни, засекаясь неси
эти косноязычные речи.

2017

Владимир Загреба

Трубка, шарфик радужный.
Седенький такой.
Что, скажи, нам надобно?
И махни рукой.
«Ни воды, ни хлеба-то» —
боженька сказал:
«Загребе — загребово,
Питер да вокзал!»
Где на щечке родинка?
Не боли, нутро!
На тебе, Володенька,
белое перо.

2017

* * *

Ты куда подевалась, сила,
что цеплялась за мой рукав?
Сколько б коса ни косила,
а бурьян оставался прав.

Я с твоим языком не свыкнусь,
чуткий воздух вокруг дрожит.
Поезд хриплое слово крикнет,
ну а мне слышится — жизнь.

Закономным мельканьем живы,
и в мечте, истертой до дыр,
как желает быть пассажиром
сухогрудый твой конвоир!

Только явь эти бредни рушит
и оскаливает рот:
Отвори, отвори мне душу —
небеса отворяет Петр.

2017

* * *

А следы-то, следы!
Без пути, без пути,
так упрямы,
упрямы!
То ли там, то ли тут,
всё бегут и бегут,
а мне кажется — прямо!
Это я — или ты?
Мне в лицо не гони
этой мути беззвездной!
Мне никак не понять:
это ты — или я?
Но не поздно,
не поздно!
Ты повсюду простерт,
только что́ мне простор?
Тут трехпалой цепочкой
пробегают кулик,
у меня только миг —
лишь от кочки
до кочки.

2017

* * *

Что тянешь
дрожащие пальцы,
царапаешь небо?
Корнями цеплялся,
в колодец двора улыбался,
по пояс ведь врос в переулок,
что темен и гулок.
Ты криво тянулся повыше —
дорос лишь до крыши.
Заглядывал в окна,
у лампочки грелся,
ты в серые лица смотрелся,
цедил им свой шепот,
свой шорох.
Ветвями сигналил,
по осени сыпал с лихвою
свои бурые звезды,
в аллеи сорил скорлупою.
Ты в затхлые комнаты рвался,
ты им улыбался,
влезал на балконы,
стучал в переплетах оконных,
слушал хриплую ругань,
любовные стоны.
Ты все их обиды увидел.
Ты все им простил, не завидовал.
Ты совал им сквозь форточки
зеленые ребусы, фокусы,
бился о стены
в бесконечные ночи осенние.

Летать ты собрался?
Пора облетать!
Твои пальцы
кружат над асфальтом,
по асфальту скрежещут заржавленной жостью.
Такому тебе-то и некуда.
Вот и падаешь в небо.

2017

* * *

Мутноватое око козы
возведи на прибитые голени —
то недуг бытия поразил:
до рассвета топтаться в загоне,

чтоб в щелястую крышу звезда,
задрожав, вдруг завыла по-волчьи...
Пастухи, уходя в никуда,
у костра засиделись до полночи.

Но смолчали в ответ пастухи,
и звезда нам себя не явила,
лишь кудлатые наши грехи
отпуская, в рассвет уходила.

2018

* * *

Ветер шуршит в переулке газетой измятой,
глаз, воспаленных бессонницей, нынче не спрятать.
Вот и брожу, одинокой скамейки приятель,
может, с собою играю по-прежнему в прятки?
Всё промелькнуло до жути нелепо и скоро,
что же никак не избыть тот покинутый город?
То ли нелепое белое платье в горошек,
то ли мечта недоступней, несбыточней, горше...
Как же так вышло: какую-то странную штуку
мы называли своею и тратили попусту...
Дом сквозняками гудел да дверями постукивал
или колеса стучали ушедшего поезда?

2018

* * *

На «селфи» я,
а позади
горячие гробы Ерусалима:
там кладбище — не проходите мимо.
Отсюда нам не виден Ерихон...
Сия земля, по сути, есть пустыня,
а поглядите: расцветает ныне
цивилизация — у каждого айфон.
За тыщи лет оригинальная культура
сюда пешком пришедшая из Ура,
короче говоря, монотеизм,
срослась уже в могучий организм.
Как я сказал, не виден Ерихо,
отсюда до границы далеко,
езды, сказать по правде,
меньше часа,
здесь, знаете ли, были Брут и Кассий,
а Цезарь, понимаете, того...
Вы камень попираете ногой,
который, может, помнит, как Пилат,
над умывальником намыливая руки,
не думал о Швейцарии, о том,
что Google Earth покажет нам Пилатус^{*},
и думать он не мог, что шоколадом
прославится убогая страна,
где похоронен прокуратор Иудеи.
Там мчатся лыжники, от слалома балдея,
там «Ролекс» стал расхожим сувениром,
и пахнет озеро швейцарским сыром —
и вам рекомендую побывать...

2018

* Горный массив в швейцарских Альпах.

* * *

Как же его все вокруг опекают-ласкают!
Как высоко его ставят, лелеют и ценят!
Всякий помочь ему хочет — ободрить, наставить
(сам же он слеп, и нелеп, и душевно болеет).

Скупно отпущен ему и талант. Еще мене — удача.
Всё ж, отпускающему вопреки и не каюсь,
тушью листы он марает в нетопленной даче,
светом и тенью смелея-немея, дрожа, задыхаясь.

Так он стоит у окна, под окном, у подножья,
в ужасе — словно в углу оскверненного храма,
придурок жизни, ошибка природы — художник,
что заблуждается ясно, светло и упрямо.

Как же он худ, поглядите, и как ему худо!
Даже когда от природы комплекции плотной,
бродит повсюду, всегда неуместен повсюду,
тащит подмышкой картоны, листы и полотна.

В нем добродетель с трудом опознает черты человека.
Но добродетели все же чуть-чуть человечней,
сей динозавр, дитя уходящего века,
не на музейную залу — скорей претендует на вечность.

Как дребезжит фистулóй невозможной, невыносимой
среди букетиков милых, таких живописных,
холстик-букетик цветочков шершаво косимых, —
содранной кожи кусочек, налипший на ситце.

Кто ж его приобретет и жилище украсит?
Как на бодрящих разводах любимых обоев
мне поместить эту непобедимую краску,
как мне, скажите, при этом остаться собою?

Слово любви у него тяжелее проклятья,
трепаным пензлем он нежность со скотством мешает,
срам у натурщицы-жизни зияет разъятый —
настежь, а веки прикрыты стыдливой печалью.

2019

Из французской истории

Антуанетта, жена гражданина Луи Капета, оказалась сукой.
Кондорсе косится на Лепелетье.
В Храме Высшего Существа прежняя скука,
будто Христос задремал на своем кресте.
Герои теснятся в очереди. Восходят на эшафот.
Выспавшись за ночь, почти не скрипит гильотина.
Вокруг толпа разевает воловий рот:
еще не народ, но мыслится — не скотина.
Подмазанные прованским, депутаты скользят в Конвент,
провозглашают всеобщее счастье, кидаются друг на друга.
С трехцветной кокардой на кивере,
в пышную пазуху лезет мент,
и Бабетта тихонько пердит в испуге.
Ликует плебс, кукарекает галльский петух,
с трибун надрываются пустобрёхи.
Бастилия падает — раздается стук.
Это начало новой эпохи.
Комитет Общественного Спасения
скатывается в трюм,
срывая ногти, вскрывают кингстоны.
И Республика, раскачиваясь, идет ко дну —
это ложь, что дерьмо не тонет...
Что ж, проба пера, пусть их рассудит Бог.
Поэзия революции — рифмы Максимилиана.
Дантон не уносит родину на подошвах своих сапог,
друг народа, кряхтя, залезает в ванну...
Наконец, Робеспьер примеряет мантию,
но тут кончается видеоклип.
Остаются на память Свобода, Равенство, Братство.
Последние кадры: грушей Луи-Филипп,
да Бонапарт, вгрызаясь в мышьяк,
шепчет: «Да здравствует император!»

2019

* * *

Когда я откину копыта,
во тьму поплыву без огня,
Харон, управляя корытом,
со скукой окликнет меня.
Потом отберет чемоданчик
и в воду привычно швырнет:
«Мы, парень, плывем не на дачу,
теням не потребно белье!
Необщим лица выраженьем
ты всем намозолил глаза!
Ахиллы, Ясоны, Персеи —
у всех одинаковый зад!
Да будь ты хоть первым пиитом —
будь скромн, козлом не скачи!
Здесь мрачное царство Аида,
кому тут нужны рифмачи?»
А мне всё до боли знакомо,
и вилы в нечистых руках,
и выбритый, пахнет «Ланкомом»,
бесовки распахнутый пах.

2019

* * *

Такая долгая зима!
И кажется — вокруг тюрьма,
«намордник» на окне, параша...
И спит медведем правда наша.
Тсс-псс... Вот-вот войдет конвой
и моментально станет тихо:
ни «ой!», ни пердежа, ни чиха,
ну и мандраж — само собой...
Но это сон — вокруг свобода,
мы всё вольнее год от года,
в руках мобильный рупорок,
и рэп в нем побеждает рок!
А скоро победим и рак,
про это знает и дурак...
Какой вокруг гунявый вой!
Но, топая, идет
конвой...

5 ноября 2020

* * *

Предо мной этот град
вырастает, как лес.
И становятся в ряд
среди незрячих небес

синагоги, кремли —
прописал их поэт,
чей носатый сквозит
в черноте силуэт.

Этот град, что прокля́т,
этот гной, что набух.
Стекленеющий взгляд
угасающих двух.

Там на тысячу лет
хватит хрустких костей,
там когда-нибудь вдруг
засвистит коростель,

птица тихих хлебов
да пустынных степей
из несбывшихся снов
позабытых людей.

А пока, а пока
перемытым бельем
повисают века
над житьем да быльем.

И далёко слышать,
как поют мусора,
да ебёную мать
гонит пес со двора.

2020

* * *

Валерию Рожко

Он был чемпионом
из тех, у кого в позолоченных кубках
пачки мятых квитанций и дохлые мухи.

Чемпионом,
которых не помнят.

В его затхлой квартире
таракан совершал восхождение на Лхоцзе —
на вымпеле, что болтался над койкой.

На сосульках своих,
обмороженных полиартритом,
ковылял до пивбара,
собирал стеклотару...

Экое горе —
адреналин
заменять алкоголем...
Лицом в блевотине,
он видел вершины.

Эй, телогрейка!
Где двадцать копеек?

А всё же за всех...

Когда он ушел,
остались следы,
уходящие вверх.

2020

* * *

Мне снова снится этот коридор,
чад керосина и пальто на вате.
Там в домино играли на кровати,
разбитым ртом ощеривался вор.

Как он дышал! Кровавая слюна
стекала по щеке ему за ворот,
и в такт вспухал и пузырился город,
а я все брел по коридору сна

сквозь мерный скрип растянутых пружин,
проклятья, стоны, матерщину, всхлипы,
там на стену кидался хохот сиплый,
у желтой лампы мотылек кружил.

Я побывал недавно в тех местах,
и опершись во сне на подоконник,
сквозь сон следил, как под моей рукою
чернела тень ближайшего куста.

Под пеплом спят Гоморра и Содом.
О, где ты, где ты, парус одинокий,
что кинул ты, скажи, в стране далекой,
да не сыскал еще в краю родном?

Чуть слышно, как гудит внизу прибор,
там, за окном, сверкают эвкалипты,
но мошкара, что на стекло налипла,
напоминает язву над губой.

Он приподнялся, зачерпнул зрачком
немного детского лица под рваной шапкой.
Я вспомнил вдруг, поживаясь зябко,
и снова оказался далеко.

Тень шевельнулась на его плече,
он весь дрожал, посапывая тонко,
вдруг отвернулся, стих, и взгляд ребенка
унес с собой неведомо зачем.

2020

* * *

Побудь немного овощем безглазым,
пустым конвертом,
веером забытым,
грачом убитым...
Любовь моя,
ну разве мы не боги?

2020

* * *

...и смерть развяжет все узлы,
меня обнимет,
мы жили ни добры, ни злы —
гонимы.

Мы жить хотели, как и все
иные,
луна взошла, а мы в росе
остыли.

И вот теперь один вопрос
остался:
с последней пачкой папирос —
что случилось?

Награда то была иль казнь,
о Боже,
они курили сообща
табак хороший.

А после сплюнули в овраг,
и тихо стало,
лишь на мои очки, шурша,
земля ссыпалась.

2020

* * *

В стекле еще густая тень.
Клубится облако, и молния сверкает.
Но утро настает. Приходит день.
Без Авеля. Один остался Каин.

Кричи — услышишь лишь себя,
и голосом твоим ответит эхо.
Скреби, скреби, бумагу тербя, —
где раньше твердь была — теперь прореха.

Беспамятством безлюдье заросло.
Всё гуще чаща, суше и шершавей.
И, шаг глуша в шуршанье мертвых слов,
всё сущее теперь зовется «Каин».

Гортань суха, и обмелела речь.
Сухими ртами воздух ловят звуки.
И, неподвижны в свете фонарей,
подобно желтым рыбам стыннут руки.

Что есть рука под именем «рука»?
Руке — рука, рука ее сжимает.
Рука ты сам, и кажется, близка,
но нет ее нигде — рука другая.

И род уходит, и приходит род —
припомнить слово, бывшее в начале,
но словом потому искривлен рот,
что ничего на свете нет печальней.

В траве ничком, кровавая роса
неслышно по щеке моей стекает
за каплей капля. Опустив глаза,
за край листа уходит брат мой Каин.

Нет, это я иду, кровав и наг,
а там, в траве, все те, кого оставил.
И много их, не вспомнить имена,
и свищет куст: «Но где же брат твой Авель?»

А жизнь саднит, никак не заживет,
и, оставляя жизнь над самым краем,
самих себя перебреедем вброд,
ногами в пустоте перебирая.

Как тяготит, еще не прожита, —
угла необжитого не оставит!
Белеет клочок волос в тени куста,
нет Авеля. Один остался Каин.

Ворочаются сумерки в окне.
В провале улицы сыреет мостовая.
Шаги шуршат, и в щели лезет свет,
и рифма Каину приходит — Авель.

Куда ты, Авель? Я еще с тобой:
шуршит бурьян, поблескивает камень,
сцепилась намертво рука с рукой,
и голос слышен — но уходит Каин.

Как воздух сух, как горяча земля!
Как даль светла над синими холмами!
И, лист оливы тихо шевеля,
полдневный жар возносится над нами.

Упал ничком. Лежит, зажав в горсти
пучок травы, немного серой пыли,
мы всё хотим с собою унести,
но руки мертвые крестом в пыли застыли.

Да, всё с собой, — и улицу, и дождь,
и лампы желтый свет, и ночь, и воздух.
Куда ты, Авель? Шепот, пальцев дрожь,
дыханья горький вкус — еще не поздно!

И город, заливаемый дождем,
деревья за железною дорогой —
мы всё это с собою понесем
неведомо куда в суме убогой.

Лишь полчаса — автомобили загудят.
Я побегу к метро сквозь парк осенний.
Мы все когда-нибудь вернемся, ты и я.
Мы все когда-нибудь уйдем и станем всеми..

2020

* * *

Неприкаянны, полумертвы,
не любя.

Этот грохот осенней листвы
для тебя.

По асфальту шуршали авто,
невпопад говорили не то,
горевали годами тайком
не о том.

Но когда одиноко стоишь
под прощальные крики грачей,
медный отблеск над скатами крыш
горячей.

Да и сам ты крылами дрожишь
на ветру.

Каждый взмах — это целая жизнь —
не умру.

2020

* * *

В. В. Драбкину, оружейнику-любителю

Дядя Вова, стреляй!
Отчего ты сидишь неподвижен?
Дядя Вова, руби! — покажи им, как надо играть
этой старой канцоны конец: непременно увижу
и запал, и развал, и себя, и пустую кровать.
Дядя Вова, давай! Ты слушать насильно заставишь,
и толпу победишь, и людскую молву пресечешь,
ты с размаху ударишь в черно-зебрую зазелень клавиш
и на самый аккорд пятернею сейчас попадешь.
Подними пистолет, что ночами ты выгрыз из сердца, —
никому не нужны пистолеты, а также стихи.
Что там Пушкин с Дантесом?
Кипятильником кружечка греется:
поселенье амёб отбывает былые грехи.
Тут нету рояля. Лишь койки убого сереют,
и, пропахший мочою, косится на нас санитар.
Дядя Вова, давай! Ничего, что мы так постарели, —
ты играй, дядя Вова, играй — без смычков и ситар.
Я и порцию каши променял бы на злые куншттюки,
мы с тобою войдем в смоляной и прижизненный рай.
Ничего, что рубахой за спину заведены руки, —
ты играй, дядя Вова, вдохновенно и точно играй!

2020

* * *

...незадачливых слов бормотатель,
заклинатель змеиных чернил...

Б. Марковский

Я издольщик бумажного хлама,
прихожанин офсетной мечети,
грызун переплетов.
Внештатный печатник,
словник перелетный.
Русскомовный хохол.
Карандашным огрызком ликуя,
кукуя, кусая...
Балабол,
я из Киева, Куева, Куя...
Мостовая косяя!
Я текста долбатель.
Последний последыш,
томагавк могикана.
Утерянных ятей клеватель,
худой буквоедыш.
Твердознак самозванный.
Где ты, мой сострадатель
блогофоб?
Что, измятый, умаялся?
Писатель-спасатель...
Твердолоб,
среднепальчика смайлик!

2020

* * *

Подымайся, лицом в паркет не лежи!
Что нам скажет экран LG?
Помнишь, как жили в кромешной лжи?
Пусть расскажут — числа им несть —
как питаться, дышать, как на бабу влезть,
что нам думать, — чем и когда,
что не слышно из зала суда,
что откопали вдруг на луне,
а ученые остолбене...
Что сказал нам сегодня вождь,
и когда на деревне дождь,
какие новости из далеких стран,
о чем молчат академики РАН,
как арабов мочат жида,
а ООН ни туды, ни сюды...
Как испечь без муки пироги,
что замышляют за океаном враги,
что в ответ замышляем мы
на своей стороне луны...
Не лежи, подымайся с колен!
Вставай — ты меня слышишь, Лен?
Подымайся, отвари что-нибудь...
Если вчера грубил, — позабудь!
Мы будем жить, несмотря ни на что,
вставай, любимая, надевай пальто!
Холодно, за окном метет...
Не тушуйся — кто ж нынче не пьет?
Но ты все лежишь, и ни гу-гу,
во дворе береза в глубоком снегу,
да вирус — не пожелаешь врагу...

2020

* * *

Ты видишь сон. (Прости меня, прости!)
Там кто-то бьется головой о землю
и землю ест. Но землю не приемлет.
И в ужасе колотятся кусты.

И ты спешишь —
к нему!
К нему!
К нему!
И падаешь одна во тьме незрячей,
и встать не можешь, и в бессилье плачешь
среди женственно разъятой темноты.

И я встаю —
к тебе,
к тебе,
к тебе,
пути не ведая в непроходимой чаще.
И в лихорадке мечутся, дрожащи,
исчерканные белые листы.

2020

* * *

Как чужое белье, мне любой гражданин отвратителен.
И тем более, чем гражданином смердит гражданин.
Кто угодно навскидку окажется ныне вредителем:
«неуютная лунность да тоска бесконечных равнин».
Знать, виновен пейзаж! Неуютная лунность повсюду...
Не в степи, так в лесу заедает глухая тоска.
В самой светлой стране не забудешь, сдавая посуду:
кто-нибудь виноват — не сосед, так сухая треска.
И когда в пиджаке, по порядку, культурно и вежливо
продвигаешься к урне, эпохальный зажав бюллетень,
позабыть не забудь о любви и о вере с надеждою:
не милее, чем нынешний, выползет завтрашний день!

2020

* * *

Вкусившему смерти слышится стон,
ветер терзает куст.
И становится ложью то,
что исходит из уст.

Море шумит. Когда на песок
выкатит черепа,
чуждым гортани злым языком
вирши начну кропать.

Гекзаметр и двустопный ямб,
капризный брахиколон,
вот и всё, что ранит меня
от начала времен.

Мешался с мужеским бабий пот,
сплеталась с ногой нога,
и достались Парису плоть,
а Менелаю — рога.

Дул в свирель козлоногий бог,
желтели глаза в упор.
И Эсхил оттачивал слог,
а Клитемнестра — топор.

Гекзаметр и двустопный ямб,
анapest, брахиколон —
гром и ветер слышатся нам
от начала времен.

2021

* * *

Тут десяток мужчин на вечерю сошлись за вином,
будто братья родные, обнимаясь, радея и споря,
а над ними оливы всё шепчут о чем-то своём,
да бормочет, пророков убийца, в бессоннице город.

Ослепил на века нас гремучий и лютый язык.
И невнятен и горек этот тяжкий язык человекав.
Человек к человеку еще не привык,
и века тяжелеют, как сонные веки.

Пусть опять и опять догорит Гефсиманская ночь,
возвращаясь на древний пустырь по щербатым асфальтам.
Нам себя не осмыслить, не вымолвить, не превозмочь,
и сцепились, никак не разъять побелевшие пальцы.

Ввечеру холодеют ступени в предсмертной росе,
и горят надо мной в небеса крепко вбитые гвозди,
и слова шевеля, я опять замолчу, как и все, —
постучатся в калитку железом одетые гости.

2021

* * *

Люби, люби
ее бессилие и ложь,
по складкам юбки шарящие руки,
всё это ты с собою унесешь.
Прыщавый школьник (не по росту брюки)
вдруг замирает, барабанит дождь.
Он просыпается.
Проходят страсть и старость,
и у него уже не отберешь
в тумане моря одинокий парус.

2021

* * *

Женщина,
старая женщина.
Женственность в ее морщинах,
в неловких ногах...
Все жаркие лона
отдам за ее
мизинец,
за обломанный ноготь,
за тоненький шрам на запястье...

2021

* * *

Слепой червяк,
слепивший кокон, —
удобный,
без дверей и окон.
Быть может, бабочкою белой
Прозреют меловые бельма.

2021

Винительный

Скоро хлынут дожди, и зима, наезжая на край
этой ржавой земли, на святом языке называемой красной,
где грохочет над морем и эхом: «Господь, покарай!»,
где бессильны любые слова, — отзовется напрасно.
Спросишь: «Кто виноват?» — языка прокурорский падеж!
Значит: «что» и «кого» не устанем никак виноватить.
И бредем, поколение угрюмых невежд,
и в кровавой грязи кувыркаются с гоем пархатый...
Видно, так и живем, и горбом выгибая гортань,
наша речь неудобно остра и щербата —
нашим мыслям сродни! И причину искать перестань:
все равно не найдёшь ни чужого, ни друга, ни брата.
«Зуб за зуб!» — так и быть! И четвертую тысячу лет
всё рыжее бурьян на краю огорода,
где копнешь — улыбнется щербато скелет:
никого не щадя, зуб за зуб вышибает природа.

2021

Меджнун

На дороге в Медину
увидел: погонщик верблюдов,
отломивши лепешки кусок
нищему, — в грязь уронил...

«Лейла!» — воскликнул безумец.
И чернела на деснах слюна,
и смеялся, и черствую пищу жевал.

А всадники небо рубили, сверкая мечами...

Целуй же меня!
Где ты, горький цветок мой,
где ты, ослик мой серый!
Где сад за высокой стеною,
где вы, синие тени...

Я — Лейла!
Я — белое небо полудня,
я вопль полуночный,
я над плоскою крышей звезда!
Я Лейла!
Я Лейла!
Я Лейла!

И в грязь повалившись,
глаза залепил себе грязью,
чтобы Лейлу свою
увидать.

В Медину прибыв,
увидел я толпы,
подобно овечьему стаду бредущи
вкруг черного дома.
Кааба!
О безумье священное тысяч!
Кааба!
О радость достигшего цели
у камня, упавшего с неба,
с другими такими же вместе
топтаться, псалмы распевая!

А облако таяло в небе...

И спиной повернувшись к Медине,
я воскликнул:
«Не создал ли землю Всевышний
и звезды над нею!
Да и мало ль камней у дороги...
Отныне окончен мой хадж».

Уснул под оливой
и кошку домашнюю нашу
во сне увидал...

Покинув Медину
и в область безлюдья приидя,
не нашел там покоя.
Ибо сердце полно было плачем,
сожаленьем о том, что оставил.
О друзьях и любимых,
о матери скорбной,
что меня не дождетя.
Далёко, далёко ушел я...

Здесь повсюду дорога!
И влево, и вправо — ущелье...
Благословенны
ручей и долина,
сухое нагорье,
трехпалый узор в мокрой глине —
там воробышек каплей упился!
И посох дорожный, что метит
в пыли, — за чертою черта...

О, Аллах!
Лишь тебя я желал обрести!
Но сущий — одни лишь потери...

Десять лет о молчанье мечтал.
Двадцать лет я учился молчанью.
Тридцать лет я молчал.
Ныне речь я обрел,
ибо в речи сокрыто молчанье.

О, Лейла!

2021

* * *

Что же я там не закончил? Трава зеленеет.
Падают с неба каштаны. Хлюпает в трубах водица.
Сеется дождик осенний, сугробы белеют,
тряпки цветные повсюду, в параде столица.

Мчатся дорогой своею зеленые звезды,
Господу Богу зачем-то всё это потребно.
В зелени снова чернеют грачиные гнезда.
Душат кого-то, слагаются песни хвалебны.

Будни, трамваи, авоськи и пыль городская,
вот и афиша: к нам в гости приехал Ван Клайберн.
Солнце садится, из бочки камсу отпускают.
Юность припомнишь и вот — барабанишь по «клаве»...

Я ли гнезда не свивал и не славил великих?
Я ли детей не взрастил, не шагал по проспекту?
Нынче мне спать не дают эти серые лики,
снова плывут над толпою, не канули в Лету...

2021

* * *

Дочери

...и годами гудит не начавшийся тот разговор.
Видно, неразличимы «вчера» и «сегодня».
Только шепот невнятный с собою уносишь, как вор,
как священник, подслушавший имя Господне.

А сама среди теплых камней. Или в желтой траве.
Или это всё тот же недвижимый и каменный воздух.
Или просто всё это густеет в седой голове,
ибо это последний, неподвижный и каменный возраст.

Я ее не обрёл. Только лики нагретых камней —
и тогда, и сейчас. В настоящем ее не ищите.
Я дышать не сумел бы, я пытался не думать о ней,
но приходит опять — новорóжденно и беззащитно.

2021

СОДЕРЖАНИЕ

«По проспекту безликому имени временщика...»	5
«Никого...»	6
Марине	7
«Пятно на серой простыне...»	8
«— Ну что там?...»	9
«Ущелье...»	12
«Некто...»	13
«Шебуршит муравьиною...»	14
«Камни...»	15
«Что, вертится, мой Галилей?...»	17
«Как время отыскать в пустом дому?...»	18
«Птица в небе — малая соринка...»	19
«Живу читателем своих стихов...»	20
«Окаменелые гроба...»	21
Европа	22
Россия	23
«Желтым до зелени...»	24
«Мне худые стихи-журавли...»	26
«Слова? Молчание и стыд?...»	27
«Тучка, белая сучка...»	29
«Пролетая над лесом, над небольшою тихих деревьев...»	30
«Глуп народ. А безумен — пророк...»	31
«Прощай, язык!...»	32
«Горчичник уличного фонаря...»	33
Детство, отрочество, юность	34
«Царь щурит веки красные на свет...»	37
«Был бит... И сам бивал...»	38
«Спотыкаясь, бегу...»	40

Подражание Данте.....	41
«Когда-нибудь вымоют пол...».....	43
«Ты дивную былъ нам сегодня поведал, певец...».....	44
«...нет, не друзья, скорее, кореша...».....	46
Сентябрь	
1. «Шоссе уходит за город, и лес...».....	50
2. «В овраге — лес. По дну бежит тропа...».....	51
«Нет, мы не путь — мы только вехи...».....	53
«...и в твоей слепоте...».....	54
«Обладатель авоськи, набитой консервами...».....	56
«В пустыню каменные реки...».....	58
«Нету силы овечьей поднять головы...».....	59
«Не снится мать...».....	60
Станция.....	61
«И правды нет, и ложь не тешит...».....	64
«Будем жить низачем — по привычке...».....	65
«Мы с тобой низачем, по привычке...».....	66
«Собраны вещи, и «сидор» затянут узлом...».....	68
Теилим, 137.....	69
«Тебе говорю, говорю тебе...».....	70
«...и выходишь наружу остриженным наголо...».....	72
«Падает дождь золотой на́ реку, город и остров...».....	73
«Ничей и никому...».....	74
«Вот из камней сочится молоко...».....	75
«Ты кричишь мне “ау!”, чуть белеет твой плащ...».....	76
«Мы спим...».....	77
«Гляди, гляди сюда, отец...».....	78
«Обжитый угол выстудит зима...».....	79
«И утро настает...».....	80
«Сию в самом себе, как в клетке...».....	85
«Прохожий...».....	86
«Цветет белена...».....	87
«Позабуду всё...».....	88
«День-старичок...».....	89

«Завел любовницу...»	90
«На буром темени, заросшем сединой...».....	91
«Ты чувствуешь полет совы...».....	92
«Тень в пол-лица, разошедшийся паркет...»	93
«В тихий скверик войди. Распрощайся с собой...».....	94
Шомер Исраэль.....	95
«О, пузырьречек розовой слюны!..».....	96
«Прощайся с собой...».....	97
«...так очевидно реки и холмы...»	98
«Так давай без надсады, без паники...».....	99
Владимир Загреба.....	100
«Ты куда подевалась, сила...».....	101
«А следы-то, следы!..»	102
«Что тянешь...»	103
«Мутноватое око козы...»	105
«Ветер шуршит в переулке газетой измятой...».....	106
«На “селфи” я...».....	107
«Как же его все вокруг опекают-ласкают!..»	108
Из французской истории	110
«Когда я откину копыта...».....	111
«Такая долгая зима!..»	112
«Предо мной этот град...».....	113
«Он был чемпионом...».....	115
«Мне снова снится этот коридор...».....	116
«Побудь немного овощем безглазым...»	118
«...и смерть развяжет все узлы...»	119
«В стекле еще густая тень...».....	120
«Неприкаянны, полумертвы...»	123
«Дядя Вова, стреляй!..».....	124
«Я издольщик бумажного хлама...».....	125
«Подымайся, лицом в паркет не лежи!..»	126
«Ты видишь сон...».....	127
«Как чужое белье...».....	128
«Вкусившему смерти слышится стон...»	129

«Тут десяток мужчин на вечерю сошлись за вином...»	130
«Люби, люби...».....	131
«Женщина...».....	132
«Слепой червяк...».....	133
Винительный.....	134
Меджнун	135
«Что же я там не закончил? Трава зеленеет...».	138
«...и годами гудит не начавшийся тот разговор...».....	139

Григорий Вахлис

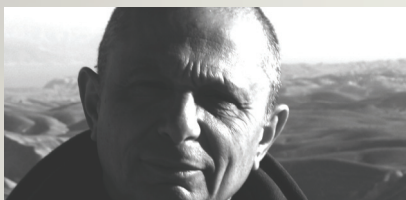
ТАКАЯ ДОЛГАЯ
ЗИМА

Дизайн обложки
Г. Вахлис

Оригинал-макет
Б. Марковский

Формат 66x88 1/16
Усл. печ. л. 9.

Подписано в печать 12.08.2022
Печать офсетная



**Родился в Киеве. С 1990 г. живет
в Иерусалиме. Профессия — художник.
Работал такелажником, грузчиком,
уборщиком, охранником.
Член союза писателей Израиля.
Автор романов «Золотой век»,
«Полет внутрь», «Ворованный воздух»,
«Человек с широко расставленными
зубами», повестей и рассказов.**



9 783949 501456

